

Тихомиров П. В. Опереточная история философии [Рец. на: Оболенский Л. Е. История мысли: Опыт критической истории философии. Изд. Н. И. Гарвей. СПб., 1901] // Богословский вестник 1902. Т. 3. № 12. С. 681–697 (3-я пагин.).

БИБЛІОГРАФІЯ.

Опереточная исторія философіи.

Л. Е. Оболенскій. Исторія мысли. Опыт критической исторія философіи. С.-Петербургъ. Изданіе Н. И. Гарвей. 1901 г. Стр. 9+356.

Русскому человѣку, вкусившему отъ плодовъ просвѣщенія, повидимому, свойственно неудержимое стремленіе выставить свои знанія напоказъ въ назиданіе невѣждамъ, не заботясь о качествѣ преподносимой такимъ образомъ согражданамъ умственной пицци. Еле грамотный мастеровой, только что выучившійся письму школьникъ—уже спѣшатъ начертать что-либо на первомъ попавшемся заборѣ, этомъ единственномъ доступномъ имъ органѣ гласности. Писаря, конторщики и прочіе болѣе культурные обыватели уже толкаются съ произведеніями своей музы въ двери прессы, хотя, впрочемъ, здѣсь имъ и рѣдко удается проникнуть дальше почтового ящика. Еще шагъ кверху по общественной лѣстницѣ,—и мы уже встрѣчаемся съ профессиональными „писателями“ и „издателями“ лубочнаго цеха, поставщиками умственной пицци для большинства грамотной Россіи; эти тоже не слишкомъ задумываются надъ качествомъ своего продукта, хотя цѣлью ихъ дѣятельности является уже не одна слава, а болѣе осязательный барышъ. Идя еще далѣе, поднимаясь въ сферу прессы въ собственномъ смыслѣ и изданій для тагъ называемыхъ образованныхъ читателей, мы и здѣсь встрѣчаемся нерѣдко съ явленіями только что указаннаго порядка. Только мотивы и цѣли здѣсь уже слож-

нѣе: здѣсь уже примѣшивается идеальный альтруистическій мотивъ служенія обществу, выдвигается принципъ пропаганды здравыхъ научныхъ понятій и т. д.; но истинной, самой интимной пружиной авторства остается, повидимому, и тутъ стремленіе подѣлиться съ согражданами полнотою приобрѣтенныхъ знаній, не слишкомъ озабочиваясь качествомъ послѣднихъ.

Не свободна отъ подобныхъ образцовъ и философская литература. Въ послѣдніе годы истекшаго XIX столѣтія мы были свидѣтелями появленія глубокомысленнѣйшихъ „Кристалловъ духа“ г. Леднева и краснорѣчивѣйшей „Философійи сознанія бытія безконечнаго“ г. Герасимова. Первый годъ начавшагося XX вѣка ознаменовался появленіемъ „Исторіи мысли“ г. Оболенскаго, о которой мы и думаемъ повести рѣчь въ настоящей замѣткѣ.

Г. Оболенскій думаетъ дать въ своей книгѣ „Критическую исторію философіи“, т. е. оцѣнить положительные результаты, достигнутые философіей съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней, и намѣтитъ планъ дальнѣйшаго развитія философской мысли въ будущемъ. „Такая исторія философіи, говоритъ онъ, дастъ намъ опыты всечеловѣческихъ геніевъ мысли и въ ихъ открытіяхъ, и въ ихъ геніальныхъ ошибкахъ, не менѣе поучительныхъ, какъ и самыя открытія. Такая исторія мысли, раскрывъ причины ошибокъ, поможетъ мысли каждаго стать выше ихъ, обойти ихъ, т. е. откроетъ философіи новыя невѣдомыя горизонты, какъ они открываются человѣку, поднимающемуся на вершину горы“ (стр. VIII). Замыселъ — весьма грандіозный! и самъ авторъ, видимо, нѣсколько смущенный величіемъ предстоящей ему задачи, спѣшитъ оговориться: „выполнить эту задачу, хотя бы даже приблизительно, я не имѣлъ ни силы, ни средствъ, ни времени. Это—дѣло грядущей и, вѣроятно, коллективной работы. Даже и матеріала для такой „науки о мысли“ собрано очень мало. Я даю общедоступный очеркъ, гдѣ многое, по необходимости, эскизно и кратко. Я былъ бы счастливъ, если бы мнѣ удалось уловить и сгруппировать нѣкоторыя черты такой будущей науки, намѣчающіяся пока въ отдѣльныхъ попыткахъ“ (стр. IX). Эта оговорка повергаетъ насъ въ немалое изумленіе: если у автора пѣтъ ни „силы“, ни „средствъ“, ни „времени“, ни даже достаточнаго „матеріала“, т. е., въ

сущности, нѣтъ *ничего* нужнаго для такого дѣла, какъ „критическая исторія философіи“, то зачѣмъ же онъ берется за это дѣло?! Развѣ подведеніе итоговъ философскаго развитія за время отъ Талеса до нашихъ дней (около 2500 лѣтъ) такъ легко, что для этого не нужно ни силы, ни средствъ, ни времени, ни матеріала? Обыкновенно эта задача считается самой трудной въ числѣ научныхъ проблемъ исторіи философіи и требующей громадной эрудиціи и осторожности. Г. Оболенскій, очевидно, думаетъ совершенно иначе и съ легкостью, напоминающей опереточнаго Калхаса, который „все можетъ обѣщать“, обѣщаетъ „уловить и сгруппировать черты будущей науки“. Правда, въ свое извиненіе авторъ говоритъ, что онъ даетъ лишь „общедоступный очеркъ“; но мы полагаемъ, что предметомъ популяризаціи могутъ быть лишь безспорные и всесторонне провѣренныя результаты научныхъ изысканій, а не плоды „бесильныхъ“ и спѣшныхъ размышленій надъ недостаточнымъ матеріаломъ, какъ самъ авторъ характеризуетъ свою работу. Очевидно, авторъ не далъ себѣ труда ни на минуту задуматься надъ полезностью для читателей созданнаго при такихъ условіяхъ своего произведенія, а постушилъ, какъ Гетевскій пѣвецъ, сказавшій о себѣ:

„Ich singe, wie der Vogel singt,

„Der in den Zweigen wohnt;

„Das Lied, das aus der Kehle dringt,

„Ist Lohn, der reichlich lohnet“.

Отъ составителя философской книги мы въ правѣ требовать большей обдуманности. Но посмотримъ, что даетъ сама книга,

Книга г. Оболенскаго открывается обширнымъ введеніемъ, занимающимъ четыре главы (стр. 1—48). Авторъ набрасываетъ здѣсь „общую картину развитія мысли“ (стр. 1—18), выясняетъ „роль философіи, какъ особой науки“ (стр. 18—29), говоритъ о „будущности философіи и ея практическомъ значеніи“ (стр. 29—37) и устанавливаетъ „объективныя условія философской мысли“ (стр. 37—48). Въ этихъ главахъ надо отдать автору справедливость, не мало есть и здравыхъ мыслей, и вполне вѣрныхъ сужденій, хотя еще больше спорнаго; и если бы намъ приходилось, скажемъ, давать отзывъ о статьѣ г. Оболенскаго, которая состояла бы только изъ этихъ 4 главъ, мы, пожалуй, отнесли бы ее къ числу

еще не лишенныхъ значенія литературныхъ явленій, вызывающихъ, по крайней мѣрѣ, на серьезное размышленіе даже своими крайностями и ошибками. Но, будучи основоположительнымъ введеніемъ къ цѣлой книгѣ, при чемъ послѣдняя должна частію оправдать, а частію иллюстрировать широко-вѣщательныя и смѣлыя утвержденія автора о философіи и ея исторіи, эти главы лишь усиливаютъ комическое впечатлѣніе контраста между грандіозностью замысловъ г. Оболенскаго и безсиліемъ осуществить ихъ сколько нибудь удовлетворительно.

Стремленіе человѣка къ познанію авторъ выводитъ изъ общаго всѣмъ живымъ существамъ инстинкта самосохраненія. „Съ повышеніемъ существъ по лѣсницѣ типовъ развитія, говоритъ онъ, видоизмѣняется и самосохраненіе. У животныхъ оно оказывается анатомическимъ и физиологическимъ, т. е. стремленіемъ сохранять въ неприкосновенности свое анатомическое устройство и свои жизненныя отправленія, а также сохранять свое потомство (видъ); у человѣка къ этому присоединяется еще моральное и умственное самосохраненіе, т. е. сохраненіе *данной* совокупности своей умственной и нравственной личности. Отсюда то и происходитъ такое упорство въ отстаиваніи своихъ нравовъ, вѣрованій, идей, что иногда человѣкъ забываетъ ради этого психическаго самосохраненія свое физическое самосохраненіе и предпочитаетъ смерть уступкѣ чего либо изъ цѣлости своихъ воззрѣній или моральныхъ требованій. Таковы мученики религій, жертвы защиты своего племени, націи, мученики политическихъ, общественныхъ и научно-философскихъ идей etc“ (стр. 1—2). Выяснивши съ помощью довольно остроумныхъ примѣровъ, что уже „для цѣлей *практическихъ*, для жизненнаго приспособленія къ природѣ и природы къ себѣ“, человѣку нужно „обычное наблюденіе законовъ послѣдовательности явленій“, авторъ естественно наталкивается на вопросъ: а чему служить чисто теоретическія знанія, повидимому, не имѣющія никакого отношенія къ практическимъ нуждамъ, напр., знанія философскія? По его мнѣнію, изысканія по общимъ вопросамъ міросозерцанія „касаются *прочности и устойчивости* самыхъ законовъ природы“ и потому „*необходимы* для успокоенія самаго инстинкта самосохраненія въ его общемъ стремленіи къ твердой, прочной увѣренности

въ устойчивости окружающаго бытія. Безъ этой увѣренности жизнь людей была бы мученіемъ“ (стр. 4). Несомнѣнно, что авторомъ здѣсь указанъ одинъ изъ дѣйствительныхъ и очень важныхъ мотивовъ, руководящихъ человѣческимъ мышленіемъ и познаніемъ. Но было бы большою односторонностью усвоить этому фактору исключительное значеніе. Если бы это было такъ, то философскія міровоззрѣнія отличались бы крайней консервативностью и большою устойчивостью. Между тѣмъ философскія мнѣнія чрезвычайно подвижны, измѣнчивы и почти всегда въ извѣстномъ смыслѣ революціонны. Этой черты инстинктомъ самосохраненія не объяснить. Въ той же главѣ авторъ, довольно наглядно показавъ связь съ инстинктомъ самосохраненія мышленія теологическаго, научнаго и позитивнаго, вслѣдъ за тѣмъ прибавляетъ: „однако мысль, временно удовлетворенная теологизмомъ и наукой, стремится вновь къ самостоятельности. Тогда то выдѣляется метафизика“ (стр. 17). Откуда же, спросимъ мы, эта неудовлетворенность, это безпокойное искаженіе новыхъ путей, новыхъ рѣшеній? Съ точки зрѣнія самосохраненія, естественно было бы философской мысли просто поступить на службу теологіи или положительной науки, углубляя и осмысливая выработанныя ими рѣшенія. Откуда-же эта наблюдаемая у большинства серьезныхъ философовъ рѣшимость сказать вмѣстѣ съ поэтомъ: „schädliche Wahrheit, ich ziehe sie vor dem nützlichen Irrthum“? Г. Оболенскій говоритъ, что метафизика „выдѣляется какъ свободное исканіе ради истинка высшаго самосохраненія“. Но вѣдь это только одна изъ тѣхъ фразъ, при помощи которыхъ можно всѣ понятія перепутать другъ съ другомъ и свалить въ одну кучу, но ничего нельзя дѣйствительно объяснить. Мы, повторяемъ, не отвергаемъ связи философскихъ стремленій съ инстинктомъ самосохраненія и охотно признаемъ, что многія явленія въ исторіи философской мысли такимъ именно путемъ и могутъ быть объяснены; но мы считаемъ односторонностью попытку объяснять такъ всякую философію.

Вполнѣ правильно и основательно раскрываетъ авторъ (во II-ой главѣ), что наука не можетъ заниматься рѣшеніемъ чисто философскихъ вопросовъ, что вопросы эти однако неизбѣжны и существенно важны для человѣка. Не дурно также отвѣчаетъ онъ здѣсь и хулителямъ философіи, от-

вергающимъ возможность рѣшенія ею своихъ задачъ (стр. 18—25). Но указывая въ „враждебномъ раздѣленіи труда“ главную причину, почему философія доселѣ не рѣшила своей задачи (стр. 25), авторъ, по нашему мнѣнію, опять впадаетъ въ большую односторонность. Причины гораздо сложнѣе и кроются какъ въ свойствахъ самыхъ задачъ, не допускающихъ окончательнаго и точнаго рѣшенія (къ послѣднему человѣческая мысль можетъ лишь безконечно приближаться въ теченіе исторіи), такъ и въ субъективныхъ условіяхъ самихъ философовъ (естественная ограниченность и неизбѣжная односторонность), такъ равно и въ объективныхъ условіяхъ исторической обстановки, въ какой появляется та или иная система.

Въ той же главѣ слѣдуетъ отмѣтить любопытныя и весьма характерныя для всего предпріятія автора разсужденія его о томъ, „чѣмъ должна стать исторія философіи“ (стр. 26 и сл.). Авторъ обвиняетъ современную научную разработку исторіи философіи въ такихъ недостаткахъ, отъ которыхъ она уже почти вполне освободилась, предъявляетъ ей, въ качествѣ новыхъ, такія требованія, которыя уже давно признаны и осуществляются историками (правда, не всегда въ должной мѣрѣ), и, главное, ложно приписываетъ ей то, въ чемъ самъ болѣе всего повиненъ.

„Я желалъ бы, говоритъ онъ, чтобы исторія философіи была не только общедоступно изложена, но и не утратила при этомъ своей научности... Я настаиваю, что ее необходимо сдѣлать болѣе научною, чѣмъ она является обыкновенно въ трактатахъ по исторіи философіи. Она не должна состоять только изъ хронологическаго изложенія философскихъ системъ, сведенныхъ къ общепринятымъ рубрикамъ,— изъ изложенія, сопровождаемаго біографическими и библиографическими данными о философахъ, да критическими соображеніями, развиваемыми съ точки зрѣнія того направленія, къ какому принадлежитъ составитель. Она должна быть изслѣдованіемъ объ условіяхъ (или причинахъ) происхожденія, развитія и преобладанія въ извѣстныхъ эпохитѣхъ или другихъ направленій (типовъ) мысли“ (стр. 26). Вотъ бы гдѣ автору умѣстно было вспомнить свой собственный совѣтъ, даваемый въ предисловіи философамъ, игнорирующимъ изученіе исторіи философіи,—„не открывать уже

открытыхъ Америкъ“ (ср. стр. VII). И замѣьте, читатель, какимъ тономъ вносить г. Оболенскій свои предложенія! „Я настаиваю (NB), что ее необходимо сдѣлать болѣе научно, чѣмъ она является обыкновенно въ трактатахъ по исторіи философіи“... Какія, подумаешь, авгіевы конюшни представляютъ собою „трактаты по исторіи философіи“, если даже г. Оболенскій почувствовалъ призваніе взять на себя относительно ихъ роль Геркулеса!... Грустно становится, когда подумаешь, что эта дерзкая выходка бросаетъ грязью въ такихъ корифеевъ науки, какъ Целлеръ, Куно Фишеръ и пр. А впрочемъ, памятуя извѣстную склонность русскаго человѣка,—на бѣду себѣ, отмѣченную и самимъ г. Оболенскимъ (стр. 15),—до всего „своимъ умомъ доходить“, мы, пожалуй, можемъ и не слишкомъ возмущаться комически-опереточной важностью и притязательностью нашего маленькаго реформатора, „въ дѣтской рѣзвости колеблющаго треножникъ“ большихъ ученыхъ... Если бы г. Оболенскій зналъ, какъ дѣйствительно пишутся теперь научные курсы и трактаты по исторіи философіи, онъ не сталъ бы говорить, будто они „состоятъ только изъ хронологическаго изложенія системъ“, сведенныхъ къ какимъ то „общепринятымъ рубрикамъ(?)“; чисто хронологическое изложеніе теперь уже не практикуется даже въ курсахъ, претендующихъ главнымъ образомъ на значеніе справочныхъ изданій и стремящихся къ возможной полнотѣ литературныхъ указаній и къ изложенію философскихъ доктринъ въ порядкѣ главныхъ сочиненій каждаго философа; — и они не чуждаются идейно-логическаго, культурно-историческаго и психологическаго прагматизма (укажемъ для примѣра на исторію Ибервега-Гейнце). Если бы г. Оболенскій зналъ о характерѣ допускаемой въ научной исторіи философіи критики системъ (т. н. „имманентная критика“), онъ не сталъ бы упрекать современныхъ историковъ философіи въ томъ, что они сопровождаютъ свое изложеніе „критическими соображеніями, развиваемыми съ точки зрѣнія того направленія, къ какому принадлежитъ составитель“; теперь уже ни одинъ „составитель“ не считаетъ себя въ правѣ этого дѣлать, по крайней мѣрѣ, явно. Если бы, наконецъ, онъ зналъ, что научная исторія философіи и безъ его совѣтовъ является „исслѣдованіемъ объ условіяхъ происхожденія, развитія и

преобладанія въ извѣстныхъ эпохи тѣхъ или другихъ направленийъ мысли“, онъ удержался бы отъ своего гордаго: „я настаиваю“, которое такъ и напрашивается на сопоставленіе съ знаменитымъ „J' assise“ покойнаго Золя... Короче говоря, если бы онъ зналъ, что „Америка уже открыта“, онъ не стремился бы такъ „настойчиво“ въ Колумбы или, какъ иногда говорятъ, „не ломился бы въ отворенную дверь“.

Несправедливо упрекая современныхъ историковъ философіи въ стремленіи критиковать изучаемыя системы съ точки зрѣнія раздѣляемыхъ каждымъ писателемъ воззрѣній, г. Оболенскій самъ скорѣе всего и долженъ подпасть этому упреку. Можно было-бы привести не мало очень любопытныхъ примѣровъ этого. Но намъ теперь достаточно указать на удачу хотя бы одинъ. Вотъ, на примѣръ, ученія Шеллинга и Гегеля авторъ самымъ явнымъ образомъ не хочетъ даже и понимать со стороны ихъ историческихъ условій, умственнаго и культурнаго вліянія и положительной цѣнности, а прямо съ демонстративнымъ подчеркиваніемъ обызываетъ „возвращеніемъ къ схоластическимъ приѣмамъ“ (стр. 182 и сл.). Что общаго у нихъ съ схоластикой, авторъ не объясняетъ, да и объяснить не можетъ, такъ какъ о схоластикѣ,—не обинуясь говоримъ,—имѣетъ самое дикое и невѣжественное представленіе. Исторія схоластики занимаетъ у него равнымъ счетомъ 9 строкъ и гласитъ буквально слѣдующее: „необходимо сказать еще два слова о „схоластикахъ“,“ названіе которыхъ читатели часто встрѣчаютъ въ популярныхъ сочиненіяхъ литературы. Слово схоластика произошло отъ дворцовой школы (schola), которой при Карлѣ Лысомъ руководилъ *Иоаннъ Скотусъ Оригена*. Схоластиками называютъ людей, подчиняющихся вполне авторитету отцовъ церкви. Напр., Оригенъ исходилъ изъ авторитета Августина и Григорія. Но въ то же время онъ и мистикъ, стремящійся путемъ внутренняго наитія проникнуть въ міровую тайну“ (стр. 75). Здѣсь что ни слово — то перлъ. О схоластикахъ авторъ хочетъ сказать „два слова“ потому, что „названіе ихъ читатели часто встрѣчаютъ въ популярной литературѣ“. Судя по тону, подумаешь, что вотъ „специалистъ“ собирается въ чемъ то поправить „популярную литературу“ или пополнить ея недомолвки для предотвраще-

нія недоразумѣній со стороны малосвѣдущихъ читателей популярныхъ книгъ. Но мы, право, ни минуты не сомнѣваемся, что трудно сыскать такого невѣжественнаго читателя (по крайней мѣрѣ, изъ прошедшихъ хотя бы среднюю школу), который бы зналъ объ этомъ меньше и хуже г. Оболенскаго. вмѣсто того, чтобы драпироваться въ тогу авторитетнаго специалиста и бросать снисходительныя замѣчанія о „популярной литературѣ“, автору лучше слѣдовало бы самому заглянуть въ какой нибудь учебникъ по исторіи философіи, хотя бы и „популярный“. Но идемъ далѣе. Имя— „схоластика“, конечно, не происходитъ „отъ дворцовой школы Карла Лысаго“, а дано писателями новаго времени всей средневѣковой богословско-философской наукѣ приспособительно къ употреблявшемуся и въ средніе вѣка названію „doctores scholastici“ (= „школьные учителя“, преподаватели т. н. семи свободныхъ искусствъ). Въ средніе вѣка слово „scholastica“ было прилагательнымъ женскаго рода и употреблялось обыкновенно, какъ эллиптическое выраженіе, вмѣсто „sapientia scholastica“, въ противоположность житейской мудрости. А по происхожденію своему, это прилагательное греческое (у Плутарха — *ὁ σχολαστικὸς βίος*). Чѣмъ, потомъ, какъ не крайнимъ невѣжествомъ автора, слѣдуетъ объяснить превращеніе Эригены (Erigena = уроженецъ Ирландіи) сначала въ Оригену, а потомъ даже въ Оригена (ужъ не церковнаго ли писателя III вѣка?), „исходившаго изъ авторитета“ (?) Августина и какого то „Грегорія“? Ясно, что для автора схоластика и ея пріемы—совершенная terra incognita. Что же хотѣлъ онъ сказать, называя философію Шеллинга и Гегеля „возвращеніемъ къ схоластическимъ пріемамъ“?— Да просто, думается, хотѣлъ отпугнуть этимъ жупеломъ читателей отъ несимпатичныхъ ему философовъ. Не думаетъ же онъ, въ самомъ дѣлѣ, утверждать, будто Шеллингъ и Гегель „подчинялись вполне авторитету отцовъ церкви“ (единственная изъ указанныхъ имъ чертъ, характеризующихъ будто бы схоластику)? Самое изложеніе ученій Шеллинга и Гегеля сдѣлано крайне кратко и въ такихъ безтолковыхъ выраженіяхъ, что можно прямо видѣть желаніе автора внушить читателямъ мысль о совершенной глупости этихъ доктринъ. А заканчивается оно досадливымъ замѣчаніемъ: „Налагать дальшее философствованія Гегеля я не счи-

таю нужнымъ и интереснымъ“ (стр. 184). Таково то историческое безпристрастіе автора, столь безцеремонно рекомендуемое имъ современнымъ ученымъ работникамъ по исторіи философіи...

Третья глава, подобно двумъ разсмотрѣннымъ, представлять тоже довольно любопытную смѣсь вполне здравыхъ сужденій съ комическими потугами на оригинальность и глубокомысліе. Такъ 1-й параграфъ этой главы развиваетъ и недурно аргументируетъ вѣрную мысль, что только исторія философіи укрѣпляетъ вѣру въ будущность философіи (стр. 29—31). Но уже § 2-й: „Настолько ли важно въ жизни общее міровоззрѣніе, чтобы стоило заботиться о его правильности, какъ заботятся, на примѣръ, о наукѣ, удовлетворяющей болѣе насущнымъ потребностямъ самосохраненія?“ — самымъ своимъ заглавіемъ выдаетъ намѣреніе автора пуститься въ область совершенно неумѣстныхъ сравненій и отстаивать пользу философіи на такой почвѣ, гдѣ сдѣлать это крайне трудно, не прибѣгая къ рискованнымъ натяжкамъ. И дѣйствительно, авторъ съ неустрашимостью Ламанчскаго рыцаря бросается въ „экономическую область производства матеріальныхъ богатствъ“, чтобы бороться здѣсь за славу своей Дульцинеи-философіи. И замѣчательное совпаденіе, авторъ начинаетъ свою экскурсію именно съ родины этого рыцаря — Испаніи. „Я беру, говоритъ опъ, Испанію. Эта страна,—цвѣтушая, плодороднѣйшая и богатѣйшая во всей Европѣ,—совершенно измѣнила свой характеръ послѣ изгнанія мавровъ, когда замѣнила ихъ міровоззрѣнія средне-вѣковыми католическими. При Филиппѣ III производство и распредѣленіе продуктовъ приняло здѣсь крайне своеобразный характеръ: почти всѣ богатства націи идутъ на украшеніе храмовъ и монастырей. Численность однихъ францисканскихъ и доминиканскихъ монаховъ (т. е. производителей извѣстныхъ „духовныхъ цѣнностей“, потребляемыхъ народомъ и оплачиваемыхъ имъ) доходитъ до 32000, не говоря о другихъ. Въ двухъ только епархіяхъ, калагорской и пампелунской, считаются 24000 духовныхъ лицъ. Въ одномъ Севильскомъ соборѣ 100 священниковъ. На нужды религіозной пропаганды при Лерма тратится правительствомъ 1152283 червонцевъ, а между тѣмъ промышленность и финансы истощены и пади до послѣдней степени. Такъ, въ

Севилья, имѣвшей въ 14 в. до 16000 ткацкихъ станковъ шелковыхъ издѣлій, со 120000 рабочихъ, къ царствованію Филиппа V остается 300 станковъ. Въ Толедо изъ 50 шерстяныхъ фабрикъ, бывшихъ въ 1665 г., остается 13. Виноградники, сады бросаются и не воздѣлываются. Вслѣдствіе страшнаго поднятія цѣнъ на продукты, жители бѣгутъ изъ городовъ, и въ Мадридѣ вмѣсто 400000 жителей, бывшихъ въ концѣ 17 в., къ началу 18 остается 200000. Но и въ деревняхъ не лучше: оттуда народъ бѣжитъ въ столицу, и толпа въ 30000 нищихъ буквально осаждаетъ городъ. Нѣтъ дня, въ который не было бы убито нѣсколько человѣкъ въ дракѣ за хлѣбъ. Не съ чего брать налога у крестьянъ; продукты въ городъ ихъ заставляютъ везти силой, при помощи палачей, развѣзжающихъ по деревнямъ. Двѣ трети домовъ въ городахъ брошены и разрушены. Въ столицѣ голодный моръ. Даже рыболовство на морѣ пало. Хлѣбопашцы бросили свои земли“ (стр. 32). Картина (не касаясь ея исторической правдивости) дѣйствительно весьма потрясающая. Но при чемъ же тутъ философія?... Мы допускаемъ, что начертанная авторомъ картина могла бы давать основаніе для сравненія промышленныхъ способностей испанцевъ и мавровъ; допускаемъ, что она оправдывала бы выводы относительно достоинства такой или иной политики — какъ общей, такъ и специально экономической; допускаемъ, наконецъ, что авторъ съ нѣкоторымъ правомъ могъ бы разсуждать о нормальномъ и желательномъ отношеніи церкви и государства; но при чемъ тутъ философія, мы совершенно не понимаемъ. Авторъ говоритъ, что все дѣло въ замѣнѣ міровоззрѣнія мавровъ средневѣковымъ католичествомъ. Но вѣдь и магометанство (міровоззрѣніе мавровъ) и католичество суть религіозныя, а не философскія міровоззрѣнія. Затѣмъ, развѣ мы не видимъ массы и обратныхъ примѣровъ, — что магометанскія страны находятся въ культурномъ и экономическомъ упадкѣ, а католическія прогрессируютъ и могутъ даже считаться въ числѣ передовыхъ? — очевидно, дѣло не въ самой религіи, а въ нѣкоторыхъ сопутствующихъ обстоятельствахъ, дѣлающихъ изъ нея орудіе застоя и реакціи.

Въ такомъ же родѣ и другіе приводимые авторомъ примѣры. Особенно эффектно среди нихъ объясненіе того, по-

чему въ современной Россіи производится хлѣба на душу на 27 гарнцевъ менѣе, чѣмъ во Франціи 1840 года. „Намъ станеть это понятно, говоритъ авторъ, если мы вспомнимъ, что во многихъ русскихъ губерніяхъ въ число пріемовъ производства хлѣба входитъ, напримѣръ, катаніе по застыянному полю духовнаго лица; этотъ способъ практикуется почти во всей черноземной Россіи для вызова дождя. Другой способъ вызвать дождь состоитъ въ томъ, что обливаютъ бабъ водою“ (стр. 35). И это говорится не въ шутку, печатается не въ юмористическомъ листкѣ, а говорится съ серьезной претензіей доказать пользу философіи, печатается въ философской книгѣ!...

Четвертая глава содержитъ разсужденія о вліяніи на философскую мысль политическихъ и экономическихъ условій. Если не считать нѣкоторыхъ преувеличеній публицистическаго характера, разсужденія эти въ общемъ можно признать правильными. Но насъ удивляетъ, что авторъ этими двумя,—сравнительно второстепенными,—вліяніями ограничиваетъ всю сферу „объективныхъ условій философской мысли“, забывая состояніе научныхъ знаній въ ту или иную изучаемую эпоху, силу философскихъ традицій, группировку партій и направленій и т. п. Вѣдь каждому новому мыслителю приходится въ гораздо большей степени испытывать эти вліянія, чѣмъ указанная авторомъ политическія и экономическія.

Всѣ указанные недостатки и крайности провозглашаемыхъ авторомъ руководящихъ принциповъ при разработкѣ исторіи философіи уже заранѣе дискредитируютъ въ нашихъ глазахъ его попытку дать критическую исторію мысли; но мы всетаки готовы были бы признать за его книгой относительную цѣнность, если бы она осуществила хоть отчасти тѣ здравые замыслы, которыхъ, какъ мы видѣли, всетаки не чужды авторъ. Но, къ сожалѣнію, и этого отнюдь нельзя сказать. *Авторъ оказывается абсолютно безсильнымъ не только стать вполне на высоту своихъ замысловъ, но и хоть сколько нибудь приблизиться къ ихъ осуществленію.* Читая его книгу, почти на каждомъ шагу поражаешься вопіющимъ контрастомъ между широковыщательной постановкой задачи и мизерностью исполненія. Книга г. Оболенскаго,—несомнѣнно, помимо его желанія,—производитъ впечатлѣніе какого то

фарса, почему мы и сочли себя въ правѣ назвать ее „определенной“ исторіей философіи.

Мы уже видѣли, сколь „научно“ трактуеть о схоластикѣ и Гегелѣ авторъ, желающій сдѣлать исторію философіи „болѣе научною, чѣмъ она является обыкновенно“. Приведемъ теперь еще нѣсколько примѣровъ подобной же „научной“ обработки философско-историческаго матеріала.

Свою исторію античной мысли (гл. 5, стр. 48 и сл.) авторъ начинаетъ выпиской изъ извѣстной „Исторіи материализма“ Лянге и затѣмъ самымъ многообъщающимъ тономъ говорить: „Дадимъ нѣсколько болѣе подробныя свѣдѣнія объ этихъ и другихъ (у Лянге упомянуты Фалесъ, Анаксимандръ, Анаксименъ, Гераклитъ, Эмпедоклъ и Демокритъ) философахъ-материалистахъ, съ которыми мы еще встрѣтимся въ XIX главѣ“. Читатель жестоко разочаруется, если, повѣривъ автору, станетъ искать въ дальнѣйшемъ изложеніи „болѣе подробныхъ“ и „болѣе научныхъ“ свѣдѣній, чѣмъ тѣ, какія даетъ Лянге. Во 1-хъ, ни о какихъ „другихъ“ философахъ, кромѣ упомянутыхъ у Лянге, г. Оболенскій не говоритъ; во 2-хъ, сообщаемыя о нихъ свѣдѣнія нисколько не подробнѣе, чѣмъ у Лянге; въ 3-хъ, свѣдѣнія эти совершенно освобождены отъ того научно-критическаго аппарата, какимъ они обставлены у Лянге, представлены въ неопозволительно упрощенномъ видѣ и исторически невѣрномъ освѣщеніи и снабжены довольно смѣлыми сопоставленіями съ данными новѣйшей философіи (напр., Анаксимандръ сравнивается съ Дарвиномъ, Гераклитъ—съ Гоббсомъ, Демокритъ—съ англійскими эмпириками 17 в.); въ 4-хъ, въ цитируемой авторомъ 19 главѣ объ этихъ философахъ нѣтъ ни слова. Это значитъ дѣлать исторію философіи „болѣе научной“...

Слѣдующій параграфъ вызываетъ недоумѣніе уже самымъ своимъ заглавіемъ: „Греческіе идеалисты: Сократъ, Платонъ, Эпиктетъ, Клеонъ и др.“ (стр. 52). Систематика и хронологія—болѣе чѣмъ странныя... И замѣчательно, что о философахъ, упомянутыхъ вслѣдъ за Платономъ, въ настоящемъ и., не говорится, если не считать мимоходомъ брошенныхъ и къ дѣлу не относящихся сопоставленій Сократа съ Кантомъ и Эпиктетомъ (стр. 52); а циники и киренцы, о которыхъ говорится сравнительно подробно, должны подразумеваться въ ничего не обобщающемъ „и др.“ Но что гово-

рить здѣсь авторъ, наприм., о Сократѣ и Платонѣ? Да не подумаетъ читатель, что г. Оболенскій раскрываетъ и обсуждаетъ ученія этихъ философовъ, насколько они извѣстны по первоисточникамъ и насколько имѣютъ историческое значеніе. Ничуть не бывало! Авторъ просто пользуется именами этихъ философовъ и случайно выхваченными обрывками изъ ихъ ученій (конечно, изъ вторыхъ рукъ), чтобы привязать сюда свои разглагольствованія объ аристократизмѣ и демократизмѣ, о Кантѣ и Галилейскихъ рыбакахъ, о Ницше и о многомъ другомъ, имѣющемъ къ дѣлу отдаленное отношеніе. Такъ Сократъ даетъ ему поводъ распространиться о значеніи демократическаго происхожденія: „Я думаю, говорить онъ, что Сократъ, какъ человѣкъ, вышедшій изъ толпы (черни), чувствовалъ, какъ чувствовали позднѣе галилейскіе рыбаки, что его братьямъ будетъ плохо до той поры, пока люди не станутъ совершеннѣе. Въ этомъ, вѣроятно, первый импульсъ (въ чувствѣ) къ тому, чтобы всю силу мысли сосредоточить на морали и ея развитія въ людяхъ. Она кажется единственнымъ спасеніемъ „униженныхъ и оскорбленныхъ““. Поразительно, что Кантъ, такъ много сдѣлавшій для морали, былъ тоже сынъ *ремесленника* (сѣдельника), но еще нагляднѣе наша идея подтверждается стойками: Клеантъ былъ *чернорабочій*: днемъ—кулачный боецъ, онъ ночью носилъ воду и мѣсилъ тѣсто. *Титъ* былъ *римскій рабъ*, да еще обладалъ самымъ свирѣпымъ господиномъ. Правда, Зенонъ началъ свою карьеру купцомъ, но послѣдователемъ Сократа и стойкомъ онъ сдѣлался тогда, когда корабли его потонули, и онъ сталъ уличнымъ бродягой въ Аѳинахъ. Положимъ, вполнѣдствіи среди стойковъ видали и императора (Маркъ Аврелій), по свойства идеи таковы, что онѣ заражаютъ и сосѣдніе классы: такъ Платонъ былъ по рожденію аристократъ, но это не помѣшало ученію Сократа овладѣть его мыслями, какъ, наоборотъ, теоріи какого нибудь матеріалиста могли увлечь и простого работника“ и т. д. Подобныя же размышленія привязываетъ авторъ и къ именамъ другихъ разсматриваемыхъ имъ философовъ. Неужели это можно назвать „критическою исторіей философіи“? Не говоря о фактическихъ ошибкахъ (о Зенонѣ) и о фантастическихъ психологическихъ догадкахъ и историческихъ сближеніяхъ, всѣ эти размышленія надо признать прежде всего и главнѣйшимъ образомъ ни-

сколько не относящимся именно къ исторіи *философiи*, ничуть не помогающими ни лучшему ея пониманію, ни оцѣнкѣ. Зато объ *ученiяхъ* разсматриваемыхъ философовъ авторъ не считаетъ нужнымъ сообщить сколько либудь полныя и точныя свѣдѣнія. Воззрѣнія Сократа, напр., резюмируются такимъ вздорнымъ образомъ: „онъ говорилъ: познай самого себя прежде всего, будь добродѣтеленъ и ты будешь знать все (??); мало того (?), ты будешь счастливъ, счастье есть добродѣтель“ (стр. 52). А о Сократовскомъ методѣ, объ его индукціи—ни слова!... Столь же научны и свѣдѣнія о философіи Платона: „надо смотрѣть не глазами, а разумомъ, тогда увидишь не эту лошадь, или дерево, или столъ, а ихъ идеи“... Въ такомъ тонѣ балаганной пародіи ведется все изложеніе доктрины, сопровождаясь настойчивыми увѣреніями, что система Платона является „амальгамой демократизма и аристократизма“. Право, лучше бы было сказать, что собственное изложеніе г. Оболенскаго есть амальгама его первѣжества и случайно надерганныхъ обрывковъ свѣдѣній изъ второстепенныхъ пособій, — преимущественно на русскомъ языкѣ.

Еще одинъ примѣръ изъ древней философіи. Изложеніе Аристотелевой философіи ограничивается самымъ бѣглымъ и до послѣдней степени упрощеннымъ обзоромъ его психологiи и этики (при чемъ какого либо знакомства съ сочиненіями Аристотеля, разумѣется, нѣтъ ни малѣйшихъ признаковъ). Его логика и важнѣйшая часть его философіи — метафизика — совершенно игнорируются. Игнорированіе метафизики всетаки, повидимому, сознавалось и самимъ авторомъ, какъ нѣчто немножко неумѣстное; вѣдь это и на самомъ дѣлѣ значитъ отнюдь не меньше, чѣмъ если бы историкъ литературы, говоря о Гоголѣ, забылъ о его „Мертвыхъ душахъ“. И вотъ г. Оболенскій маскируетъ свой поистинѣ невообразимый шагъ важной миной особаго и очень глубокаго умысла: „Его метафизическіе взгляды, говоритъ онъ, я излагаю въ главѣ о типахъ мышленія“ (стр. 64). Почему это оказалось нужнымъ отнести метафизику на конецъ книги (гл. 24), авторъ не объясняетъ; и мы никакого разумнаго объясненія предположить не можемъ, потому что, при громадномъ вліяніи Аристотелевой метафизики на послѣдующую философію, опущеніе ея въ своемъ мѣстѣ совершенно непонятно. Но, обращаясь къ указываемой авто-

ромъ главѣ, мы, кажется, начинаемъ понимать, почему онъ такъ поступилъ. Аристотелевской метафизикѣ тамъ посвящено 12 строкъ такого невѣроятнаго вздора, что едва ли и самъ авторъ,—при всемъ своемъ самообольщеніи,—считалъ эту тираду за что либо большее. Ясно, что въ своемъ мѣствѣ онъ метафизики Аристотеля не излагаетъ потому, что совершенно ея не знаетъ и не понимаетъ. Чтобы не оставаться голословными, приведемъ это замѣчательное изложеніе. „Аристотель говорилъ, что „каждое существо въ малѣйшихъ частицахъ своихъ есть микрокосмъ (міръ въ маломъ видѣ)““. Это не атомы Анаксагора, мертвые и одаренные только тяжестью и движеніемъ, происшедшимъ отъ предвѣчнаго толчка, это—цѣльныя, одушевленные единицы живого вещества міра (монады). По мнѣнію Аристотеля, цѣлесообразность міра не навязана ему извнѣ, какъ полагалъ Лейбницъ, вводя свою предуставленную гармонію, управляющую монадами,—нѣтъ, цѣлесообразность достигается сознательнымъ стремленіемъ души. Душа же не есть нѣчто отдѣльное отъ тѣла; Аристотель понимаетъ ее, какъ энтелехію, т. е. руководящую цѣль“ (стр. 311). Приписываемаго авторомъ выраженія о микрокосмѣ у Аристотеля совсѣмъ нѣтъ. Понятіе микрокосма у Аристотеля есть, но оно у него дано совсѣмъ не въ такой фразѣ (у Ар.: *ἐν μικροῖς κόσμοις γίνεται, καὶ ἐν μεγάλῳ*) и не въ такомъ смыслѣ, какъ у г. Оболенскаго. Анаксагору здѣсь приписано совсѣмъ не принадлежащее ему понятіе объ атомахъ. Столь же странно представлять и Аристотеля учившимъ о монадахъ, какъ „одушевленныхъ единицахъ живого вещества міра“. Подобнаго ученія у него совсѣмъ нѣтъ. Не болѣе соотвѣтствуетъ дѣйствительности и приписываемое Аристотелю объясненіе цѣлесообразности, и опредѣленіе энтелехіи. Не правда ли, читатель, исторія философіи становится въ изложеніи г. Оболенскаго „болѣе научной, чѣмъ она является обыкновенно въ трактатахъ по исторіи философіи“?... Эта горделивая претензія г. Оболенскаго здѣсь опять намъ вспомнилась особенно потому, что изложеніе Аристотелевскихъ воззрѣній на стр. 64—66 представляетъ собою лишь искаженіе сказаннаго объ этомъ предметѣ на стр. 86—87 русскаго перевода не особенно важной въ научномъ отношеніи „Исторіи философіи“ Кирхнера. Вотъ уже истинно научная самостоятельность! И такихъ примѣровъ въ книгѣ весьма не мало...

Читателю, можетъ быть, уже наскучило слѣдить за научными подвигами г. Оболенскаго; и мы, чтобы не злоупотреблять болѣе безъ надобности его терпѣніемъ, ограничимся еще однимъ только примѣромъ изъ новой философіи,—примѣромъ очень характернымъ и даже не нуждающимся въ комментаріяхъ. Вотъ какъ излагается ученіе Канта о познаніи (стр. 169 — 170): „По Канту все наше познаніе образуется такъ: нѣчто непознаваемое дѣйствуетъ на насъ извнѣ. Это дѣйствіе воспринимается нашими ощущеніями, которыя сообщаютъ ему свою форму — пространства и времени: пространства для внѣшнихъ ощущеній, времени для внутреннихъ.... Чувственный опытъ попадаетъ въ обработку къ разсудку. Разсудокъ — это способность сужденія. Для этого у разсудка есть нѣсколько типовъ сужденія или категорій, всѣхъ 12, въ томъ числѣ сужденія причинности, сужденія всеобщности (всѣ люди смертны), сужденія частности (нѣкоторые люди—издатели) (!) и т. д. Ихъ можно свести къ главнымъ категоріямъ и типамъ сужденія, именно: отношенія, качества, количества и измѣняемости. Раскладывая весь чувственный опытъ по этимъ ящикамъ своимъ, разсудокъ образовываетъ всевозможныя сужденія и понятія. Эти то сужденія и понятія уже обрабатываетъ разумъ, т. е. подыскиваетъ имъ основанія, приводитъ ихъ къ общности и единству посредствомъ своихъ идей (міра, Бога, абсолюта, пумена, души). Отсюда ясно“... Но довольно! Отсюда „ясно“ только одно, что болѣе варварскаго упрощенія и, *sit venia verbo*, обезсмысливанія надъ Кантовскою гносеологіей и нельзя было продѣлать. Даже извѣстная „Священная исторія со словъ дяди Степана“—и та въ своемъ родѣ удовлетворительнѣе. Если бы мы по многимъ признакамъ не думали, что г. Оболенскій вообще пишетъ серьезно, мы приняли бы такое изложеніе за злостную пародію.

Мы исчерпали лишь малую часть перловъ книги г. Оболенскаго, а она полна ими сверхъ мѣры. Особенно много поучительнаго въ заключительныхъ главахъ, содержащихъ подведеніе итоговъ. Но не довольно ли уже и того, что мы видѣли? Не въ правѣ ли мы сказать, напоминая начало нашей замѣтки, что земля Русская... не оскудѣваетъ извѣстнаго рода „писателями“?...

П. Тихомировъ.